

ЮРИЙ ГЕРЦОГ

НАЧАЛО ЭПОПЕИ

Издательство «Вольной Мысли»

1968

ЮРИЙ ГЕРЦОГ

НАЧАЛО ЭПОПЕИ

ПОЭМА-ХРОНИКА

Издательство «Вольной Мысли»

Вашингтон.

1968

Все права сохранены за автором

Copyright by the author

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,
8 München-Allach, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

ПРОЛОГ

(«Книга происхождений»)

Мне нравится, что жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.

Белла Ахмадулина.

1

Альбом старинный — сверстник тусклых лет
Лампадою мерцающей эпохи,
Без чар зовущий к яви сны и чохи,
Над тленом вознесенный амулет;
К недавним мифам проторённый след,
Стелись ковром волшебным — самолётом,
Лети к тому, что было (— или нет?) . . .
Свидетель свадеб, крестин и бурь семейных,
Хранитель тайн сердечных и келейных
За кожаным тиснённым переплётом.

2

Благоговейно чти пузатый том,
 Листай с волнением толстые страницы,
 Страшись, чтоб не нахмурить эти лица,
 Вклинённые в картоне голубом.
 Так входит гость незванный в мирный дом,
 Смущение до боли осязая,
 Робея, не печась о чём другом,
 Чтоб только лишнего не вырвал взгляд,
 Чего-то не подслушать невпопад
 И не нарушить зря покой хозяев.

3

Но не тревожит сон столетней дали
 Назойливой пытливости порок.
 Хозяин сам от жизни брал оброк —
 Сановник важный в блеске всех регалий;
 Он — этот: в позолоченном овале
 Здесь на портрете чернооким
 Седеющим красавцем. Хоть в срижали
 Не высечен средь знати родовой,
 Но путь его был озарен звездой,
 Когда шагал по ступеням высоким.

4

Пусть род его, Империей вскормлённый,
 Как говорили . . . Был ли только слух —
 (Чего не мелет чванный рой старух!) —
 Что тот оазис, степью обрамлённый,
 Их сад обрадовский уединённый,

Был орошён высоческим дождём . . .
Как знать? Потомок рода уязвлённый
И, если что-то знал, не был в ответе.
Он до-ночи зарывшись в кабинете,
Как нянька, над казённым бдил рублём.

5

Империя в те годы в новый путь
Вступала, продлевая сроки жизни.
И дух реформ, как кислород, отчизне
Врачами был введён на время в грудь.
В консилиуме том не раз блеснуть
Обрадов смог. Не даром, миг улучшив,
Чтобы не дать «ЭПОХЕ» утонуть,
К нему шёл Достоевский за советом.
И гостем частым в неладах со светом
Искал у свояка участия — Тютчев.

6

Но, может быть, с Игната Фомича
Иной портрет писать нам надлежало.
Все ждали бюрократа — генерала
С лицом героя, сердцем — палача!
Как знать, как знать! Кукушка куковала:
За сенью либерального забрала
Был скрыт холодный и сухой расчет;
С Обрадовки дохода было мало,
И в век промышленный важнее — руки . . .
Об этом затвердят Игната внуки,
Читатель же по свойски разберет.

7

А этот: с широтою плеч бурлацкой
 И бороды до полгруды балласт . . .
 Отцу — судили так — во всём контраст,
 Но, как отец, он двигался по статской
 (Хоть чужд был вящей хитрости царьградской!)
 Артиста душу и талант певца,
 Заслушавшись трелью залихватской,
 Открыли в нём Балакирев и Стасов.
 Увы! Он оседлал иных Пегасов:
 С упорной страстью строил без конца.

8

В Обрадовке за балкой на горбе
 Средь буйного ольшаника прогалин
 Погосты циклопических развалин
 Кудеснически манят к ворожбе.
 Но тщетно б археолог
 здесь себе
 Искал удачи: не нашел бы кладов.
 Тут был завод заложен, но судьбе
 Так привелось, что средств ли не хватило . . .
 А там — пожар . . . и Лета поглотила,
 Как всё, о чём радел Коко Обрадов.

9

Не парой расточительного брата —
 Весталкою цвела его сестра.
 За книжками с полночи до утра,

Молилася на Канта и Сократа;
И каялась, не в том, чем виновата,
А верила, что есть закон вовеки:
Беспечности наследует расплата . . .
Она пришла, когда кузен Борзов
Обрадовку перекупил с торгов
В зените братской деловой опеки.

10

Любовь Игнатьевна . . . Портрет вот тут:
Орлиный взор, округлых плеч покатошь,
Во всех чертах сквозящая крылатость.
Такие — долго в гнёздах не живут!
Ко взлёту взмах . . . Зовут — полезный труд,
Свобода . . . Пусть, от шока зеленея,
Родни, знакомых цепенеет пруд . . .
Пора! Вперед! Уж сердце чует мзду,
И . . . замуж (в романтическом бреду) —
За пианиста, кровного еврея.

Р о м а н с

Цвет яблони на озорном ветру
Ссыпается снежинками, не тая,
И мы идём по белому ковру,
В последний раз глазами провожая
— Цвет яблони на озорном ветру.

Хотя кругом резвится вешний рой,
Тем горше с юными расстаться днями.

И ты грустишь, поникши головой,
Как яблоня отцветшими ветвями.

— Хотя кругом резвится вешний рой.

Слепой тревогой ясный свет не хмурь,
Но опершись покрепче мне на руку,
Гляди, как с янтарем слилась лазурь,
Разливов солнечных суля поруку.

— Слепой тревогой ясный свет не хмурь!

Зрелее чувства, увенчавши страсть,
Как яблони со спелыми плодами,
Как осени магическая власть,
Что золото рассыплет над садами.

— Зрелее чувства, увенчавши страсть!

11

... В наши дни в Нью-Йорке на Бродвее
Безвыездно уж тридцать лет подряд
Живет старушка — миссис Доротея,
Вдова художника. Как все твердят,
Её квартира — ценный род музея,
Откуда редко в бурных улиц чад
Она спускается, как Данте в ад,
На что, как говорит, смешавши карты,
Она сменила чердаки Монмартра.

12

Ей резвый гальский дух не изменил,
Но старость шлёт, увы, свои кручины.

Так из знакомых только тот ей мил,
Кто не состроит недовольной мины
(В который раз, и сколько хватит сил!) —
Пересмотреть все мужнины картины,
Его коллекций полные витрины . . .
Под тем предлогом стал я вхожим в дом,
И там нашёл негаданно альбом.

13

Разительной находки откровенье
Навряд ли кто бы мог предугадать,
Но чтоб развеять тем недоуменье,
Старушка рада факты передать.
Трех языков мешая выраженья,
То торопясь, то возвращаясь вспять,
Она поведала, что лет за пять
Получен был альбом до смерти мужа.
Его прислала им — кузина Муза . . .

14

— . . . «графиня де Борсоф!» — Но нет таких
Средь русских графов. — «Ну, так баронесса!»
— Звучит похоже. — «Как же у других
Ничем не *лучших*? Муж мой был повеса:
Прозвал ее La reine Марго. Но стих
С годами нрав . . . А прежде поэтесса
Была, муж говорил, и столп прогресса!
Я видела ее на склоне дней:
Никто не величавей, не видней!»

— Борзова Муза? не её ль племянник
Сергей Обрадов, мой старинный друг?
— «Обрадов? Как же! Муж мой — Марк
Пасманик
По матери Обрадовым был внук.
Быть может друг ваш — тот, «извечный
странник»
(Испытывать судьбу — людской недуг!)
Он с Марком в переписке был, и вдруг . . .
Но путаю . . . Того же Николаем . . .
Ах, как мы к старости всё забываем!»

— «Вот в этой группе сможете найти
Кого вам надо. Видите Маркушу?
Ему здесь нету даже двадцати . . .
Вот — Миша, брат его. Большую душу
Он показал на жизненном пути!
Хоть прежде (тем секрета не нарушу)
Любил он (как по-русски?) — бить баклушу!
Но стал он академик и лингвист,
Хотя он смолоду и был марксист . . .»

— «Здесь и Обрадовы. Вот старший Павел,
Предмет нежнейшей Музиной любви.
Царапинку на целый век оставил
Он ей на сердце. Так у них в крови.

А впрочем нету непреложных правил
Для шалостей амура. *C'est la vie!*»
Читатель, здесь терпенье призови,
Чтоб выслушать, как я, сие преданье.
Я передам его в своем изданьи.

18

Чтобы поднять свой обедневший род,
Оставил полк и стиль лихой, гусарский,
И на уральский дядюшкин завод
Прибыл поручик бывший службы царской
Блюсти борзовских денег оборот.
Иначе замышлял божок фиглярский,
Туда ж примчав от жизни тарабарской
Изысканную Музу отдохнуть.
И там — стрелой пронзить обоим грудь.

19

— Любовный тракт ухабист и дурманен
В мгновеньях полустаночных утех.
(Предрек так будто б Музе Северянин,
Кладя на плечи ей соболий мех . . .)
Но жребий пал, ущербен и туманен,
И главной из терзающих помех,
Чем Павел был злосчастно в сердце ранен —
Была его законная жена . . .
И тут ещё как раз пришла война.

Стихотворение

— написанное на оборотной стороне фотографической карточки:

В комнату сумрачный гость
Вполз сквозь оконные щели.
Темь, как томящая злость,
Пологом никнет к постели.

Мышь под порогом скребет,
Звякнет в буфете посуда,
Кажется — вот прошмыгнет
Мерзкая нежить оттуда . . .

Тишь. Но бессонная мысль
Будит дремавшие чувства:
В гордиев узел сплелись
Войны, любовь и искусство.

Чей заколдованный меч
К подвигу взыщет из жути
Цепкие нити рассечь,
Выбрать тропу на распутии?

Поздно! Ворвались во двор,
Слышно — ломают ступени . . .
То ли разбойный дозор
Красть человечьи тени?

Скажет мой доктор и друг:
— Нервы у вас в беспорядке,
Вам бы поехать на юг,
Рыться на спаржевой грядке.

Чушь! А в ушах тарахтит
В шалом разгульном напеве —
— Нет, не уступит Лилит
Сердце Адамово Еве!

20

Семейных хроник не повествователь,
Пишу я, что воспримут слух и глаз.
Не вывожу всеобщий знаменатель
Анализа событий. Без прикрас
Я каюсь в том. Прости, читатель,
За неумелый, сбивчивый рассказ,
Навитый впечатленьем от альбома
И тем, что по другому мне знакомо.

21

Пусть даст ответ мне строгий мой судья —
Возможна ль доля правды в этой были?
Что люди как-то прожили, любили,
Искали счастья, волновались за себя
И за других, и падали, грешили
Не более, чем с вами мы, друзья,
А между тем из них для многих вскоре
Грозил огонь небес, как тем — в Гоморре!

Коли судить, то осудить весь век,
 Своих птенцов учивший на гнездище,
 Что жизнь прожить, не дав злословью пищи,
Порядочный обязан человек.
 А там — покой на дедовском кладбище,
 Как Николай Игнатьевич, навек
 Обретший мир с супругой говорливой
 (Хоть не были они четой счастливой!)

К могиле их под мраморной плитой
 Припал ещё ковчег останков бранных:
 Скончавшийся от свежих ран военных
 Их средний сын — веселый и простой.
 В последний год Империи больной
 В процессии сошлись погребальной
 Все отпрыски родни прямой и дальней
 В последний раз единою гурьбой.

Тут был Обрадов — младший брат, Николка,
 На днях надевший юнкерский мундир,
 И хмурый Павел с шрамом от осколка —
 Подарком неприятельских мортир;
 И Муза с ним, глядящая на мир
 Так отчужденно, непривычно колко,
 Вся в мыслях лишь про Павла, про развод,
 Про сопряженность следом тьмы забот.

Гордясь своею близостью к двору,
 Борзов не одобрял дочерней страсти,
 Но от всего он нынче ждал напасти:
 — «Как есть идёт всё в чёртову дыру!»
 Двоюродную повстречав сестру,
 Старик обрадован тем был отчасти;
 С ней примирился после панихиды,
 Преодолев взаимные обиды.

Любовь Игнатьевна по смерти мужа
 Взялась вершить российские дела
 И ярою кадеткой прослыла . . .
 Теперь не так. Душа — все та же птица,
 Но рвётся к сыну на французский фронт . . .
 Покоя нет . . . И вихрь качает трость . . .
 (Ей предложенье по-сердцу пришлось
 В Обрадовку опять переселиться!)

С тревогою глядел теперь на мать
 Сын Михаил — чудак неисправимый.
 Он среди всех один, как одержимый,
 Всё призывал грозу и вольный шквал.
 И шквал пришел! . .

Но тот, кто все узлы
 Хотел рассечь, стремясь к одной развязке,
 Увидел сам в те дни лишь только маски —
 Пародии изогнутых зеркал . . .

Раешник

Уважаемая публика,
Достопочтенные зрители!
На нашей сцене сегодня увидите
Впервые за сотню и более лет —
Необычайное, гигантское зрелище.
Будет наше представление,
Миру всему на удивление —
Ни комедь, ни музыка, ни балет.

Не про гордого царя Максимильяна,
Не про рыцарей и знатных особ,
Что в речах напускали туману
И стреляли друг дружке в лоб —
За красавиц нарядных и чванных,
Своих тонкотелых зазноб.
Ну, а те всё вздыхали у рампы,
Так, что тухли в театре лампы!

Довольно на них глаза проглядели
Те, что семячки луцат с райка,
Кому сдачу дают с пятака —
Все, кто корпели, прели, потели,
И всегда о чём-то радели,
Что-то чинили, шили, варили,
Кого-то в экипажиках подвозили,
Все, чья нынче пришла неделя!

Вали, народ, — бесплатный вход!
Все расходы берет дирекция!
Это прежде была коммерция,
А теперь — свобода:
Кому не лень
На сцену лезь!
Давай-ка, брат, кто во что горазд.
Вот это так будет парад!
Ай-да, публичка! Эх, народец!

Ой-да, головушки забубённые,
Сердешные,
Актёрики новоиспечённые,
Потешные!
Вы-то и ступить не умеете,
Косолапые,
Вот придут затейники,
Тароватые,
Что всё-то знают, что твой мудрец!
Они вас причешут, пригладят, помогут,
Они вас по рядам построят . . .
И волюшке вашей — конец!

28

Стихи, что привелось мне здесь вписать,
В крючковых росчерках, письмом занятным
Начертаны в лиловую тетрадь,
И по причинам вовсе непонятым
Заложены, что трудно отыскать,
Средь сцепленных пустых листов альбомных.

К чему в мир призраков — сквозных и томных —
Был вторгнут чуждый привкус суеты?
Иль смысл многоречивой немоты
Страниц тех незаполненных, последних
Хотел раскрыть какой-то привередник?

29

Ответить на вопросы не смогла
Мне толком Доротея Юлианна,
Но как всегда радушна и мила
В рассказ пустилась бурно и пространно:
Что вот опять нашла на память мгла,
А у неё к альбому приложение —
Архив документального значенья!
Что разыскав его, придется ей
Всё завещать в какой-нибудь музей;
Что видеть меня снова будет рада;
По-русски же болтать — её улада!

30

И вот «архив» лежит передо мной:
Николки-младшего летописание —
Его военный список послужной;
И святцы с добавленьем поминанья
За всех живых и вечный упокой;
Календари внушительною связкой
С заметками рукой не очень ясной.
Когда-нибудь, коль скоро доживу,
Поведаю последнюю молву
О некоторых вам известных лицах,
Здесь размещенных на живых страницах.

Но лишь альбом — свидетель той поры,
 Откуда была моя берёт истоки
 На грани сна и бредовой игры,
 Чтоб протянуть положенные сроки,
 А там — рассыпаться в тартарары;
 Свидетель беспристрастный и солидный,
 Составленный с любовью очевидной,
 Со справками событий, дат, имён,
 Как рапорт на посту и у знамен,
 И в то же время мой путеводитель
 В фантазии цветистую обитель.

В коллекции землячки Жанны д'Арк
 Средь пёстрых чудиц формы одиозной
 (Таких не сыщёт даже зоопарк!)
 Одна лишь вещь казалась мне курьёзной
 Из всех, что написал Пасманик Марк.
 Картина та висела в узком холе —
 Похожа на дракона, но в неволе.
 Я много раз глядел в неё в упор,
 И начал различать привыкший взор
 (Хоть не поклонник я такой манеры) —
 Мысль смелую за прихотью химеры.

Не знаю, как назвать тот жанр и стиль,
 Там было всё: семян произрастанье,
 И свадебная бабочек кадриль,

Звериный бой, людское созиданье,
Тлетворная, как смертный образ, гниль . . .
И всё струилось вверх в поточном взлёте,
Переплетаясь в шальном водовороте,
Переливаясь в формах и цветах
Одно в другое. В брызгах и рывках
Стараясь вырваться из рамы тесной
В миг зрительный и к доле неизвестной.

34

А позади иной намечен план
(Ключу бурлящему ведь нужно русло!)
Всё то ж, что взбаламутил ураган,
В деталях тех же, только очень тускло.
Причин и следствий вечный караван
В геометрическом покое линий
И скрытый за прозрачной дымкой синей.
Здесь царствует безвременья закон.
Куда девался миг? Исчез, как сон,
Но в *никуда*. И нет ему кончины
Там, где не стёрлись следствия-причины.

35

Не знаю, правильно ль я понял мысль,
Что передать хотел художник кистью,
Но в том я ощутил подспудный смысл,
И должное воздам его наитью.
Чудесен стройный мир бесплотных числ,
Где двум да трём нельзя сказать — исчезни!
А время — водопад, скользящий к бездне.

И мы, несясь в теченьи роковом,
Хватаемся . . .

а я так за альбом!

Нам мнится — берег проплывает мимо,
А вот он здесь — предметно, ощутимо.

36

Альбом тиснённый — драгоценный дар
Из прошлого, отлившегося в вечность!
Ведь каждый пульса взрывчивый удар
В нас будит устремленье в бесконечность.
И нас влечет магнитом тайных чар —
Счастливых и рождённых без сорочек —
По ритмам музыки и стопам строчек.
С ним этих строф грузёную баржу
Я сквозь бурлящую провёл между,
Чтоб выгрести к желанному причалу.
Но, может быть, лишь дан сигнал к началу?

ИСХОД

(Хроника смутных лет)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— «Стой! Кто идёт?»

Молчанье. Тишина.

«Так вот тебе, гадина . . .

На!»

Трах-тах-тах!

И эхо разносит: страх! страх!

В эту пору

страхи творятся на улице.

Кто у забора

маячит,

сутулится?

Знать, враг,

коли прячется . . .

Трах-тах!

Новой музыке рад
революционный Петроград.

Обывателям — нытикам
охать в напасти:
где вы защитники
временной власти?
Драпнули каналы,
ужо их нагонят!
Слышать на вокзале
срывали погоны.
Трах-тах!

Катись кувырком,
по канавке ползком,
по забору вьюнком.
В подворотню дуй,
что есть духу!

Добежал.
Огляделся . . .
Прислушался —
не слышать погони!
Снял кокарду с фуражки,
погоны,
и опять тем же маршем —
сквозь дворы проходные,
переулки сквозные,
быстрей, быстрей!
До парадных дверей
знакового здания.
Здесь ты найдешь пристанище!

Молочные сумерки,
октябрьский вечер.
Улицы вымерли,

огни притушены.
В домах все окна
завешаны плотно.
Звуки приглушены,
 прерывисты речи,
взволнованы люди:
что будет? Что будет?
Только тленной перекипью
режима старого
спокойно и уверенно
дышет пар

 из самовара.

Михаил Давыдович

 гостя потчует

вареньем смородинным,
уютно хлопочет,
слышит урывками:

— «... честь Родины...

 верность присяге...

... угроза — свободе...

Получил приказанье
выйти со взводом.

Маршрут...»

 (— Ещё бы
 стаканчик чаю?) —
«Спасибо! Вдруг примечаю
ни маршрута,
ни взвода...

 жутко!

Все пути отрезаны...

Впятером за парашютом отстреливались.

Мне шепчет фельдфебель: «Ваше благородие,
патроны у нас на исходе!
все равно ведь кадетам

приходит крышка,

вам бы тихохонько оторваться,
пока мы будем сдаваться!»

Миша! А, Миша!

Что я мог ещё делать!? . . .»

Долго молча сидел он,
голову уронив на руки,
и вдруг — всхлипнул звонко . . .
Кузен Миша

подпоручика

утешает, как ребёнка.

Надо уметь ублажить

чувств полноводных стихию,
чересполосицу

мыслей нестройных.

— «Ты политик, Миша, скажи,

кто такие —

Ленин и Троцкий?»

Через пенсне

поглядел на него колко,

как профессор взглядом рентгеновым
просвечивает

аудиторию.

— «Запомни, Николка:

мы свидетели,

как творится история.

Безжалостны и угрюмы

её закономерности, —

что мерещилось

далью вселенскою,
обернулось гордыней Ставрогина,
мерзостью Верховенского.

Но последние звенья

не скованы,

растянувшись

в десятилетиях.

Будем ждать и глядеть . . .

Тебе, Николка, не место здесь!

Завтра потолкуем об этом

обстоятельно и подробно.

От нашего факультета

тебя я обрадую

командировкой.

(Помяни моё слово доцента

Михаила Пасманика!)

И гони, брат, на юг в Обрадовку.

Там сейчас моя мать

с Серёжей,

твоим племянником.

А теперь — спать!

Ты устал, на себя не похож».

Весь город заснул к рассвету,

но видно не спали где-то,

и слышалось впотьмах:

трах-тах-тах!

Революционная песня

Мы вышли походом в снега и метель
Средь вихря, погибель несущего.
Кострами пылает вдали наша цель —
Во имя грядущего!

Товарищ, крепись без оглядки назад,
Судьба жестока к отстающему.
За счастье всемирное наших внучат
Навстречу — грядущему!

Мы прошлого сбросим постылый балласт,
Под песню, к победам зовущую,
Мы огненной цели приветствуем власть
И радость грядущую.

Всё то, что держало в плену исстари,
Лишь рябь по разливу текущему.
Иные воздвигнем в сердцах алтари
Для жертвы Грядущему.

Мы новой рассады взрастим семена
Для сада навеки цветущего.
Не будет чрезмерной любая цена
Во имя грядущего.

Мы с небом расторгли неправый завет!
Не мёртвым, награда — живущему:
Упорным сердцам в предвкушеньи побед
За верность грядущему.

Откроем историю с первой строки —
Мы предки за нами идущего.
Плечо ко плечу! И чеканней шаги
Во имя грядущего!

Зимой в восемнадцатом грозном
и очень несчастном году
в товарном вагоне порожнем
достиг, соскочив на ходу,
заснеженного посёлка
прозябший Обрадов Николка.
Добрался как будто домой,
а главное, что живой!
У станционного штабеля
свалился, как узел тряпья.
В пути его шибко ограбили,
раздели, как есть — до белья...
Два раза он был в аварии,
а раз так попал в мешок:
забрали в какую-то армию,
но он не дался — утёк.
Эх, шпалы да рельсы железные,
дороги по ним непроездные,
голодный снующий народ
и тот восемнадцатый год!

И вот он, Обрадов, на станции
у цели этапной судьбы,

да вид у него оборванца,
в опорки обут для ходьбы.
Невесело это — дорогой
шагать восемь вёрст по сугробам,
но к гостю приветливый шлях
шлёт место в попутных санях.
Трещала в пути без умолку
глазастая попадьё,
под речи вздремнул Николка,
Господь ему в этом судья . . .
— «У нас, слава Богу, спокойно,
бесчинствовать недосуг . . .
А время-то, время какое:
народ очумел вокруг!
В соседнем уезде — вот драки . . .
Нагрязнули гайдамаки,
а с севера красный отряд
врывался три раза подряд . . .»

Околица. Стукнув подковами,
конёк ускоряет свой бег.
Так славно на лёгких дровенках
вкатить в девятнадцатый век.
Чугунные копыя ограды
и мраморный строй колоннады,
как стражи застывшей наряд
в саду очарованном спят . . .
Но жизнь бьётся пульсом за ставнями,
ровна, как классический ямб.
Здесь — точно в прозрачной гавани,
а где-то бурлит океан.

В камине пылают поленья,
сердца ж излучают тепло.
Здесь много подряд поколений
глядело, как пламя росло.
Здесь держатся старых обрядов,
а если приезжий — Обрадов,
хоть выгладит он, что босяк,
но барин он все ж, как ни как.

Николку встречают с объятьями,
как рады — нет слов рассказать,
но тётку Любовь Игнатьевну
в тот день он застал в слезах.
Путями незнамо-окольными
и судьбами своевольными,
минуя кордоны и рвы,
письмо добрело из Москвы.
Был бледен Николка, читая,
а горло душила петля,
иплыли те строчки, мигая,
в ногах колыхалась земля . . .
О брате то были известия.
Безумьем звучал надрыв
несуженной Богом невестки,
троюродной их сестры.
Возможно ли верить тем строкам?
В отчаянии одиноком
в нём Муза исплакала бред,
что Павла в живых уже нет.

Торжествен, как марш похоронный,
был Павла последний барьер.
Не снял он, не снял погоны,
как верный погиб офицер.
На могилёвском вокзале
его на штыки подняли,
на то был текущий этап
и пропуск в Духонина штаб.
Письмо ж было сбивчиво длинно
с короткой припиской в конце,
что жить-то мы дальше повинны,
и весть об её отце.
Борзов Аполлон Антонович
не ждал роковой черед,
он вовремя смылся в Эстонию,
теперь за границей живет.
Отсель в ностальгическом рвении
просил приглядеть за именем,
зане не поздней — через год
он спросит подробный отчёт.

Дни тянутся серою стайкой.
Николке — не счастье искать!
То бродит с ружьём он на зайцев,
порой оседает тоска,
что в сумерках никнет к кровати,
твердит о замученном брате,
а утром отчаянный сон
в ребячьих чертах отражён.
Лицом на отца похожий,
его черноглазый двойник,

кудрявый шалун Серёжа
был баловнем всей родни.
И всё же Любовь Игнатьевна,
слезинку смахнув на лету,
вздыхала: «Кто ведает счастье-то,
что ждет на пути сироту?»
И вечером, чай наливая
угрюмому Николаю,
сама изливалась о том,
что сердце сжимало, как ком.

— «Серезу мне мать подбросила.
Негаданно, как во сне,
явилась в начале осени
и бухнулась в ноги ко мне . . .
С привычной трагической миной
была она прежнею Ниной,
но видела я будто страх
стелился туманом в глазах.
Зачем-то звала свекровью,
сказала, что любит, как мать,
что начала харкать кровью,
и едет на юг умирать.
Признаюсь, что я опешила
(на месте моем побудь!)
Она же, не долго мешкая,
пустилась в далёкий путь.
С тех пор не прислала ни весточки.
Боюсь, что Серёженьке деточке
сиротская жизнь до конца:
ни матери, ни отца!»

Ах, тётя, чудесная тётя!
Николка совсем-то был мал,
когда в непрестанной заботе
она заменила им мать . . .
Теперь что-то в ней незнакомое —
то книги читает духовные,
то с гостьей своей попадьёй
о бренности судят земной.
Вздыхают о пройденном времени,
бранят одичалый народ . . .
— «Из города шло помрачение!»
— Куда это всё приведёт? —
— «Отец мой был почвенник рьяный.
Бывало, в беседке пьём чай,
из целой округи крестьяне
собираются, как невзначай.
Сидят на ступеньках крылечка,
толкуют степенно до вечера . . .
Отец с ними ласков, не строг,
зато и любили его».

Ник тётку непрочь и поддразнивать,
скрывая за шуткой надлом.
— «Крестьяне — свободные граждане,
им место за общим столом!»
Смущение вылилось вздохом:
— Всему-то своя есть эпоха!
— «Ах, батюшки! Мать ты моя!» —
вступилась душа-попадья.
И быстрым палящим взором
Николке в глаза — укол.

— «Им было б уж так зазорно
садиться за барский стол.
Уж оченно вы благородные,
в губернии нету других!»
Зарделась былая народница,
Николка невольно притих . . .
А матушка тут же поведала,
какими грозит ещё бедами,
о том, что и в их уезд
ворвался красный разъезд.

Весна.

Выставляются рамы.

Идёт и гудёт

вешний шум.

(Здесь кстати пришлись бы нам ямбы,—
увы, не даются на ум!)

Эх, шумы да гуд заливные,
подножные гулы взрывные!

Земля в ожидании дел
готовится

под передел.

А как-то вошла запыханная,
проворна, как мышь, попадья:

— «Ну, прибыли гости незваные,
на грех напорочила я.

На станции нашей, в слободке,
орудует ревкомитет.

Кричат, что земля для народа,
помещиков всех на ответ!

Уже на соседей нагрянула

оравища их полупьяная,
не дай Бог, на вас череда . . .
Не в силе теперь господ!»

И вот словно злым чьим-то домыслом
прорвало крушащий поток.

Сначала явились с обыском,
Ник вовремя скрыться смог.

Твердит Катерина бедовая:

— «Именье не ваше — Борзова,
коль в дне пробуравило течь,
вам головы лишь бы сберечь!»

Забравши Любовь Игнатьевну
с Серёжей в поповский дом,
Николку направила прятаться
в развалины за ручьём.

— «Там ждите, ужо не рыпайтесь,
а тётушку и дитя

к сынку их отправим в Питер
с оказией погодя».

Эх, добрые баре обрадовские!

Как жили за вами — не радовались,
расстались — не брызнет в плач
мужик, что привык молчать!

Два дня Ник скрывался в убежище
среди каменных стен и мха,
где пахнет от порослей свежестью,
в серёжках форсит ольха.

Он ждёт лишь сигнала от Кати:
как смеркнет, телега подкатит,

возница хоть пьяница, плут,
но верный — из бывших слуг.
Вчера Катерина Савишна
прокралась сюда из села,
и в память о дружбе недавней
подарок с собой принесла.
Он будет хранить эти святцы
через поприща дальних дорог . . .
Но, чу! Вот пришла . . . прощаться . . .
— «Вы здесь? Так пора . . . Путь далёк!»
Крестом, поцелуем трехкратным
напутствие в судьбы превратные . . .
— «Ну, с Богом!»

Щемило грудь,
и кони двинули в путь.

*Деревенские и слободские
частушки*

В этом годе
не по моде
щеголяют господа:
хоть в сорочках
без порточков
разбежались кто куда.

Объявили нам свободу
от господ и от царя.
Кабы ситцу да землицы,
Чтобы псам не гавкать зря!

Землю скопом поделили,
по дворам забрали скот,
даже бабушке Аксинье
перепал господский кот.

Наша Фроська, чем не краля?
Аж пыхтит, как паровоз:
тычет пальцем по рояли,
утереть забыла нос!

Наш Емеля,
что неделя
ходит важно индюком.
Чи кадетский,
чи советский
не написано на нём.

Встану утром на заре,
выйду спозаранку.
Мой милёнок — пролетарий,
а я — спекулянтка.

Пшено мое крупчатое
и белая сметана.
Приехали мешочники,
я им давать не стану!

Эх, яблочко,
цвета макового,
красногвардия придёт,
станешь лакомым!

Эх, яблочко,
ты пригожее,
к атаманам попадёшь,
сгрызут с кожей!

Я на бочку забралась,
в бочке — мёд ли, дёготь ли.
Всё равно, какая власть,
лишь бы нас не трогали!

— «Стой! Кто идёт?»

И звук из зловещей мглы:

— Свои!

Тьму отражая, в упор
щёлкнул ружейный затвор.
Как дым из горнила адова,
туман наплывает кольцами...

— «Вы-хо-ди!!!»

— Подпоручик Обрадов
явился добровольцем...

Приказ: зачислить в батарею!

Подписал: полковник Гордеев.

... — «А теперь, чтоб отдохнуть да оправиться,
вон в той хате
сможете приютиться!..»

— «Позвольте представиться —
штабс-капитан Левитский».

**
*

Быстрого времени бег—
рубит в лесу дровосек . . .

Миги, как щепки, летят
месяцы кружатся в лад;

ось свою набок клоня,
мчится в пространстве земля . . .

Суток, часов и недель
вертит за ней карусель.

Времени грозный отсчёт
строчкой ведёт
пулемёт.

Как механизм часовой,
к сроку заводится бой.

Словно удар топора,
рушит и колет УРА!

Гулоч орудий напор —
людям несёт приговор:

выжитый опыт копить
в топоте буйном копыт,

в эхе стогласой пальбы,
в жутких гримасах судьбы.

Этой азартной игрой
полон беспечный
герой —

Ник, с ним лихие друзья,
вся боевая семья.

Нету на свете тесней
братства военных друзей!

Слеплен их верный союз
сотнями скрепов и уз,

связан бинтами в крови,
словом священным: «свои» . . .

Но между братьи лихой
был побратим
дорогой —

длинный Левитский Андрей,
рыцарь до мозга костей.

Если б бородку и таз,
был бы Кихотом, как раз, —

в гневе готовым свой меч
на святотатцев извлечь,

недруга свергнуть к ногам
самой прекрасной из дам,

кровью вписать на щите
гордый девиз о мечте:

дабы не ведала грусть
Дама по имени Русь!

Туго затянут в мундир
был молчалив командир.

В бой, как на строгий парад,
шёл не для новых наград.

В залпах из вражеских дул
спину прямую не гнул.

Мало, что знали о нём:
то, что спалён

отчий дом,
пулей в висок наповал
скошен отец — генерал . . .

Мать и сестёр, как чума,
жадно пожрала тюрьма . . .

И колесит через свет
младший братишка — кадет.

Но непоругана честь:
слаще наркотиков —
мечь!

Шёл девятнадцатый год.
К северу нёс их поход,

кровь орошала траву
в рьяном рывке на Москву!

Станция есть — Ворожба . . .
(Ждёт здесь, как в цирке борьба!)

Парой драконов у врат
бронесоставы стоят,

каждый изринуть готов
пламя из дюжины ртов.

То ли полковник был маг,
он колдовской

 подал знак,
тотчас с другой стороны,
хоботы вздев, как слоны,
звери стальные на зов
впали в глушительный рёв.

Пламя на пламя пришлось,
чудо о юдо свилось . . .

Кто кого гнёт на ковёр?
Схватку решает манёвр.

Ротмистр Яша смышлён:
вывел в объезд эскадрон.

Сабли — невесть что-нибудь —
вмиг перерезали путь.

Хлопнул капкана замок,
рявкнул дракон и замолк.

Рельс прокатился чугуном
звоном оборванных струн . . .

Точно кудесник — герой
заговорённой рукой,
ловко накинунув силочку,
крылья чудовищ отсёк.

Как с земляной борозды,
поднялись стаей

Дрозды
в натиск пехотных атак . . .
Будет заклёванным враг!

Вдоль полотна по дистанции
ехал Обрадов на станцию.
Бой замирал.

Ещё где-то
бил пулемёт без ответа.
Глазом скользя вдоль равнины,
дальше — дымились овины . . .
В штаб направляясь, Николка
трясся по кочкам в двуколке.

За расписным семафором
поезд стоит под дозором.
Скаля штыками винтовки,
суетно рыщут дроздовцы,
скопом снуют муравьиным . . .

— «Выскочил! нет и помину!»

— «Чёрт! упустить! . . .»

Кто-то в кителе
чьих-то поносит родителей,
в раже тряся аксельбантами.
Гневно лицо адъютантово —
фата штабного Нагроцкого.

— «Чей это поезд?»

— «Да Троцкого!»

Только что был здесь со свитой . . .
Местность, как будто, открытая —
вдоль-поперёк пересекли,
словно запрятался в пекле!»

Вот привязавши савраса
около первого класса,
Ник очутился в вагоне
в явно буржуйском салоне.
— «То-то здесь жили, как баре!»
Жжёт кипяток в самоваре,
так что пришлось им, как видно,
бросить вагон неожиданно.
Ник утешает знакомого:

— «Ну, ничего! Мы догоним его!
Схватим — не тут, так в Москве,
иль на державной Неве . . .
На то мы — скала,
чтобы наша взяла!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сентябрь бледно-палевой дымкой
уснувшее лето оплакивал,
лепил на глаза паутинки,
как слёзы, глаза заволакивал.
Рядил в маскарадные платья
деревья, как будто на бал,
но ветер в нескромных объятых
с ветвей одеянья срывал.

За днями пальбы кутерёмной,
за потом кроваво-удушливым,
повеяло осенью томной
и отдыхом жданным, заслуженным.
Обратно на север готовясь
нацелить драконову пасть,
во взятый грузят бронепоезд
лихую Гордеева часть.

Покамест ремонт да снабженье,
депеша летят по станциям,

братва, позабыв про сраженья,
фланирует скопом по станции.
И впрямь *батареи студенческой*
прозванье не даром пришлось!
А тут генерала Рутенича
составами прибыл обоз.

Вот повод к вечерним гулянкам,
а сёстры уж там милосердия!
Понравится нашим воякам —
не надо большого усердия.
Но сразу открыть Дульцинею
не всякому выйдет черёд,
то выпало счастье Андрею,
на то он и был Дон-Кихот.

В наитии чувства приبلудного
он пел мадригалы хвалебные
про те ли глаза изумрудные,
про взгляд пламенящий волшебницы.
— «Она худоцава, но поступью —
царица несбыточных снов . . .
К такой не отыщешь и подступа,
не свяжешь впопад и двух слов!»

Непризнанный томный любовник,
так всем надоел уморительно,
что даже молчавший полковник
в сердцах пробурчал наставительно:
— «Здесь действовать можно без риска.
Рутенич на это хитёр:

сначала берёт в одалиски,
потом производит в сестёр!»

Сказав так, не думал при этом
про меткость прицела изрядного,
что едкий заряд рикошетом
вопьётся в Николку Обрадова.
Он тоже заметил касатку,
Андрея восторг и экстаз,
с тигровою мягкой повадкой
и ярью русалочьих глаз.

Но чувства текли по иному,
метались, как пальцы по клавишам,
то в скерцо скользили к былому,
к виденьям томящим, недавнишним . . .
Андрею уж больно некстати
звать друга на вечер взбрело.
— «Я болен. Залягу в кровати!» —
ответил тот хмуρο и зло.

Средь братии артиллеристов
Андрей был служакаой старательным,
пушкарного дела артистом
и лучшим прослыл математиком.
Но к женскому сердцу, ей-Богу,
иные тропинки ведут . . .
И тут ему срезал дорогу
штабной адъютантик и пшют.

А ночью в бессонном раденьи
при лунном предутреннем свете

Андрей клял своё невезенье,
Николка признался в секрете:
— «Я эти глаза подведённые
узнал бы среди тысяч . . . Она —
два года назад разведённая
покойного Павла жена!»

Как крот, замурованный в норке,
Обрадов в тот день знаменательный
в вагоне скрывался, в каморке,
от встречи ему нежелательной.
Он выглянул, враз успокоясь,
в прохладу закатной поры,
когда отбывающий поезд
вычихивал густо пары.

Трубя в карнавальные дудки,
явились затейники ряженные,
и поезд откалывал шутки
собратьям, построенным рядышком.
То лихо вперёд вырываясь,
то резко попятясь назад,
он ждал, чтобы вдруг поравнялись
со взглядом тоскующий взгляд.

Был взор тот пронзительно жалок,
так робко взывал о прощеньи,
что сердце Николкино сжалось
внезапным, как боль, наваждением.
Он спрыгнул с высокой площадки
под окрики чьи-то, свистки,

бежал поперёк без оглядки
к протянутой кисти руки . . .

Дрожа в непонятном ознобе,
он бросил не фразы, а выстрелы:
что Павел убит в Могилёве,
Серёженька с бабушкой в Питере!
И вновь сиганув через стёжку,
всё в том же мгновенном бреду
на плывшую в дали подножку
вскочил он на полном ходу.

Стучат под мотивчик игривый
колёса по азбуке Морзе,
а встречного ветра порывы
наносят всё новые вёрсты.
В пролётах, гудя проводами,
бренчит, как на арфе, эол,
и поезд летит под парами
прокладывать путь на Орёл.

За жесткой, упругой бронёю,
стальной щетиной ощеренной,
пульсирует сердце живое
и сила отваги проверенной.
Вагоны заносятся пляской,
дым — флагом взвился в синеву . . .
На стенках эмалевой краской
сверкает девиз:

«На Москву!»

*Песня
молодых добровольцев*

Гудит набат: в пожаре Русь!
Теперь не до наук и муз.
Пора учиться ловко
Орудовать винтовкой!
— Кому сдавать зачёты,
Взялись за пулемёты.

П р и п е в:

Друзья в поход! Всегда вперёд!
Горит восход. Россия — ждёт!

И каждый слышит властный зов:
Достойным быть седых отцов!
Что собирали деды,
Храните для победы!
— На ниве славы всхожей, —
Коли не вы, так кто же?

Пускай нас треплет клевета,
Пусть ждёт могилы теснота,
Но кровь прольем мы смело,
И свято наше дело!
— На Русь несём спасенье
От клеветы и мщенья.

Мы дети русской стороны,
Её послушные сыны, —

Кто даст ей мир и право,
Тому почёт и слава!
— Кто не вернётся с битвы,
По тем споём молитвы.

Мы верим в вещие слова:
Россия вечная жива!
За это — в бой сегодня
И с именем Господним!
— На подвиг беззаветный
За славный флаг трехцветный!

Друзья в поход! Всегда вперёд!
Горит восход. Россия ждёт!

Вьюжный ветер гонит тучи
в южные страны
за морем,
сыплет снег с воздушной кручи
в степь
по бескрайним просторам.
Гонит тучи, будто войско
вражеской силой
сметается —
там, где натиск и геройство
вымпелом
по-ветру
маются.

Веет в руслах на низовья
линией

меридианной,

поезда на Приазовье

с тыла

сечёт

окаянный.

Хвост змеи заледенелый —

тянутся

звенья состава,

в тесной давке тела к телу

мускулы ноют,

суставы . . .

Та же свалка на вокзалах:

рыщут

добыть провианта,

спят в повалку в грязном зале,

ломаются в дверь

к коменданту.

Комендант небритый

хмарой

мрачно глядит

в посетителей,

самогонным перегаром

дышет им в нос убедительно.

— «Кто, Обрадов? . . . Направленье!? . . .

Значит, хотите нагнать свою часть . . .

Оторвались в отступленьи . . .

Вам не сюда надо было попасть:

ваше место в жёлтом доме!

С вами туда же и мне, это факт!
Кто разыщет в этом Содоме?
Нет расписанья . . . Здесь полный б!
(пардон, — кавардак!)
Ждите! Сутки, двое, десять . . .
Ждите, и весь разговор».
Влево кругом, не отдавши чести,
вышел Николка в сквозной коридор.

Рядом с дюжим, хмельным казачиной
там примостился и тем был уж рад
между стенкой и чьей-то корзиной,
словно в купе, утомлённый Обрадов.
. . . Мысли скачут шеренгой вздвоенной,
пережитое впрялось в бытё:
то, как был разнесён бронепоезд,
с тем, что так душно и жарят живьём . . .
Бились хлопцы, веря в победу,
но полегла половина ребят . . .
Давит грузная туша соседа,
только и он — по несчастью брат!
Брат? Который — Павел, Игнатий?
Кто же из них, как сказали, убит?
Белая женщина в свадебном платье
жуткую тайну об этом хранит.
Кто эта женщина: Нина? Муза?
В брата вцепилась, кричит: «Не отдам!»
Около ж грабят казённые грузы,
то ли цейхгауз, не то провиант . . .
Значит, вправду, разбойники — воры,
а комендант — атаман воровской!

Чёрной стаей слетаются вороны
с мстительным карканьем
над головой . . .

Вдруг комендант
окриком сотского
воздух потряс,
спугнувши птиц.
— «Как до сих пор не поймали Троцкого!?»
Тут как тут адъютант.
Лебезит . . .

Пальцы даме целует
с резвостью необычной.
Всё позабыв,
кружатся в плясе,
льнут к белой невесте
и адъютант,
и комендант,
и всё такое вместе . . .

Кто-то сказал уверенно зычно:
— Это тиф!

Тиф? Тиф!
Тики-так.
Тикает маятник польке в такт
Птица свищет: тиф-тиф-тиф!
Кошка фыркает, хвост вспушив,
тявкает пёсик, нос задрал:
тиф-тяв! тиф-тяв!
Тише на крыше!

Тьфу! Не скребитесь, мыши.

Тише! Тише . . .

Тссс!

Тошно, маркотно в больничной кровати . . .

Если тихонько подняться,
мышью шмыгнуть по палате,
дверь может поддаться . . .

Там за дверью ждут боевые собратья —
сам полковник Гордеев,
друг Андрей и другие,
все молодые,

живые,

лучшие . . .

Завтра — атака . . .

Близ позиций

нагрели

лазутчика.

Тащат в штаб

на допрос:

с видом раненой птицы,
как у дятла нос,
кровь запеклась

струйкой под глазом . . .

Пытался бежать —

двинули прикладом.

Руки свесились крыльями,

движенья резки,

вёл себя на допросе

вызывающе дерзко.

Как ни бились —

ничего не сказал,

только ненависть

в ястребиных глазах . . .

Черные волосы

свесились прядями,

брови колючи,

как тёрна кусты.

Думал Николка, на пленника глядя,
где он видел эти черты.

Может быть, в Питере

у Миши Пасманика,

многих в том доме

встречал он из мира того . . .

— Надо спросить бы —

мелькнуло в сознании,

и осёкся . . . смущённый

перед пропастью роковой.

Медленно кружатся
оси колёс,

в трауре кружев

ненужный допрос,

тянется катафалком

в стуже сердец . . .

Каждый ведь знал

неизбежный конец.

Словно дробь барабана

в назначенный час —

«пленных не брать»

надвисает приказ.

Знал это тоже притихший пленник.
Ширилась бездна в провале зрачков,
как у сражённого пулей оленя
свет уплывает с последним скачком.
Но ведь он человек,
и ещё не покойник!

Жизнь в многоструйных
бьётся ключах . . .
И когда его вели под конвоем,
он закричал:
— «Да здравствует Коммуна!»
Голосом металлическим
подал Гордеев

команды клич:

— «Целься!»
— «. . . да здравствует коммуни . . .»
— «Пли!»
Сковырнулся, как дичь,
подстреленная на лету . . .

Молвил Андрей молодому собрату,
нервно сигарку во рту потроша:
— «Легче жизнь самому отдать . . .
Но они
еще хуже
с нашими! . . .»

Тики-тики, тики-так,
это будет вечно так.
Коль вы — наших,

мы — ваших, мы — ваших . . .
Раз и два,
прочь слова!
Тики-тики.

Два за раз.

Вы — нас,
мы — вас!
Тики-так.
Это будет вечно так . . .

Кто сказал, что это больница?

Здесь не палата, а зал . . .

Зачем так много зеркал?

Где в том смысла крупца?

Если в стекло воззрится,

нос начинает кривиться,

взгляд ястребиться . . .

Словно у птицы

клюва грозитя оскал!

Смотрят с укором

в упор —

зеницы . . .

Дальше пошло всё двоиться,

троиться,

пухнуть, расти,

множиться сторицей, —

хари — не лица

ряженой вереницей . . .

И негде скрыться,

негде спастись! . . .

Дайте хоть воды напиться!

В мире свершается чудо:
с неба, как два изумруда,
скатится ласка из глаз . . .
Тонкие пальцы за делом —
скрыли за пологом белым
жуткий зеркальный экстаз.
Веет бездумной прохладой;
как из кипящего ада
вырвалась хрупкая плоть.
Нет ни упора, ни бремени,
даже отрезков во времени,
чтоб на мгновенья колоть.
И растеряв очертанья,
лепит предметы сознание
сквозь полумрак — полусвет.
В воздухе смутною тенью
выплыл в неясном значеньи,
память дразня, силует . . .
Штрих слухового наброска
(кажется, голос . . . Нагроцкого!)
к звуку направит прицел:
да, это он, здесь — в палате,
тоже в больничном халате
рядом на койке присел.

— «Здравствуй, дружище, с тобою
рад повстречаться в Крыму.
Ишь, под счастливой звездой
ты родился по всему!
Всё же в молитве вечерней,
и пробудясь поутру,

ты поминай — у Рутенича,
помнишь, красотку сестру!
Это она средь вокзала,
где тебе был бы каюк,
в груди больных разыскала . . .
Спас тебя случай, мой друг!
Нина ж (вот женская смелость!)
в поезд прямой — лазарет
всунуть тифозных сумела.
Право, ей нужно бы крест!»
Воздух . . . ах, крымский воздух!
Море в окне и песок . . .
Как в самоцветные грозди
сил наливается сок.
Вот на ногах уж . . . Из клетки
дверца распахнута в сад;
вечнозеленые ветки
к радостям близким манят.

Встреча пришла, как нечаяно,
словно слились два ручья.
— «Я виноват чрезвычайно!»
— «Нет, виновата — я».

Р а с с к а з Н и н ы

Если в памяти прошлую жизнь
пролистать, как прочитанный том,
чем понятней нам свой эгоизм,
тем он меньше оправдан в другом.

С мужем дружная жизнь не далась,
я беспечно была молода;
не сумели мы первую страсть
пронести, не расплескав, в года.

Сколько строим мы к счастью преград . . .
Но на *ту*, как он мог променять!
И обиднее было в сто крат,
что она не красивей меня . . .

Мне в разводе звучал приговор,
я боролась, как раненый зверь!
Но уже в потаённую дверь
постучала опасная хворь . . .

Одиноко во власти волны,
в вихре чувств, что закручивал смерч,
я твердила, что дни сочтены,
и звала, как спасение, смерть.

Всё ж меня понесло на Кавказ
под напором тиранов врачей.
В этот год наша жизнь без прикрас
обернулась изнанкой своей.

Не лечение, а хлеба кусок
мне давался с великим трудом.
Но жива я осталась, и впрок
мне жестокий пошёл перелом.

А судьба, сберегая от зла,
всё капризней меняла наряд.

Белой армией вскоре был взят
городок, где я скромно жила.

Тут был самый крутой поворот
в моей доле — несносной, шальной:
на пути моём встретился тот,
кто прославлен кругом, как герой.

Широко прозвучала молва
о его боевых чудесах,
не пустыми то были слова,
что Рутенич не ведал про страх.

Изливались награды, как дождь,
и менялся рисунок погон;
мне шептали с различных сторон:
он — надежда и в будущем вождь!

И уж так ли безмерна вина,
что кружилось в моей голове?
— Я люблю, и ему я нужна . . .
Лишь подумать — такой человек!

Я, как пёс поспешила за ним,
обожая за ласку и плеть.
Только сдуло романтики дым . . .
О, как скоро пришлось протрезветь!

Не делить с ним и рай и беду,
как мечталось, до грани бытья,
а с такими ж пришлось, как и я,
стать забавой в походном быту . . .

Надо было всё это испытать,
стиснув зубы от мук и обид,
прыскать в душу разбавленный спирт,
жечь в угаре сомненья и стыд.

Но на приступ судьбы неизвестной
всё влекло меня дальше вперед,
чтоб достигнуть заветного места,
где — я верила — сын меня ждёт.

Не забыть то свиданье в пути . . .
С этой памятной из встреч
я решилась все пути пресечь
и тропу свою вновь обрести.

Я в Обрадовке всё ж побывала.
Моложавый священник в селе
был участлив, но что ожидала
разузнать, — так осталось во мгле . . .

Вера — лучшее из лекарств:
Бог сиротку хранит и поныне!
Я ж блюла среди грешных мытарств,
не запачкав, фамилию сына.

Пусть никто мне не ставит в упрёк,
что позорит Обрадовых Нина, —
я взяла свое девичье имя,
то — моё и со мною умрёт!

Вечер хоть влажен, но тёпел,
выстлан тенями раскосыми;
в лунных лучах Севастополь
светит янтарной россыпью.
Там за горами — метели,
здесь в благодатных краях
люди в английских шинелях
спят на бульварных скамьях.

А в ресторанах парадно
выстроен звонкий хрусталь,
и до рассвета с эстрады
песни про страсть и печаль.
— Тем ли, кто пару бриллиантов
в месте зашил потайном,
у королей-спекулянтов
пышный готовят приём?

— «Смутного времени знать!
Плачет по ним Чрезвычайка . . .
Всё же невредно узнать
тыл, и кого защищаете!»
Нинины взоры — огонь,
речи колючей иголки.
(Нет, никогда такой
Нину не помнил Николка).

Давеча в позе мечтательной
вдаль устремляла свой взгляд . . .

— «Мой beau frère — как замечательно,
значит — прекрасный мой брат!»

(Да, он готов быть ей братом,
вместе ступать напролом!)

— «Глянь, за центральным столом,
что сервирован богато:
этот со стрелкой пробора . . .
Вот поклонился и сел . . .
Дмитрий Зозулин, который
в Думе когда-то гремел.
Туловище мастодонта —
щеголь, жуир, кавалер.
Он через линию фронта
ходит, как тайный курьер.
Прочие ж все здесь дерьмо —
пьяницы, кокаилисты . . .
Лучше послушать артиста,
что нам пургой примело!»

Эстрадная песенка

В зелёной клетке пёстрый попугай
С плюмажем экзотической жар-птицы . . .
Вы привезли его, как невзначай,
Средь багажа из взвихренной столицы.

Он ни к чему, ненужный реквизит
Того, что погрузилось в преисподню,

Как грим для обесцвеченных ланит,
Как гардероб теперь уж старомодный.

Он недруг ваш, он зол, он — оборотень,
Он вашу память дразнит каждый день.
Тому портрету в рамке с позолотой
На вас клеветает, омрачая тень.

И память шлёт, кружась в пространствах дальних,
Видения причудливей химер —
Блеск бальных зим, сезонов театральных,
Бег тройки и изысканность манер . . .

О чём колдуешь, злая птица Рок?
Иль в вечности кому-то шутки ради
На наших судьбах преподать урок
Взбрело головоломкою в шараде?

В изломе чувств — зловеший приговор.
А попугай в похмелье от угара,
Как ворон сумасшедшего Эдгара,
Твердит упрямым бредом „Nevermore!“

**
*

Подёрнуто море пятнистою рябью,
за дымчатым кругом далёко — нордост . . .
У ржавых причалов над маслянной хлябью
игрушечным змеем парит альбатрос.
А ветер вихрастый на берег с волнами
доносит солёную горечь морей,
и пегие гребни дозорными псами

пасут по заливу стада кораблей;
кого-то преследуют гончею стаей,
по отмели ласться, лижут песок;
то сбоку подкравшись, прохожих кусают,
с повадкой дворняжьей, за щиколки ног.
И бурые шлейки,
цепляясь за пальцы,
в пучину втянуть норовят,
где раки-отшельники,
рыбки-скитальцы
и в ракушках жемчуг наяд . . .

Всё утро на камне песчаного мыса
Николка в раздумье провел на юру.
Прибоем сгоняло нестройные мысли
и рвало в лоскутья на бойком ветру . . .
. . . В судьбе, как ракушки, рассыпаны звенья,
зацепишь одну, и другие скользят . . .
. . . Быть может исправить ему назначенье,
в чём брат, хоть невольно, но был виноват . . .
. . . Пусть Нина озлоблена, то — преходяще . . .
Чья странная доля сложилась мрачней?
Свести её нужно с людьми настоящими . . .
Хотя б, например, как Левитский Андрей!
. . . Сам будет он тенью,
хранителем Нины,
опорой на трудном пути!
В сегодняшний день —
её именины,
условлена встреча к шести . . .

Николке не терпится в срок предназначенный
явиться с букетом по старым обычаям,
(за это торговцам им было заплачено
последней своей «колокольчиков» тысячью).
Ещё не отбило шести на часах,
он щёлкнул задвижкой калитки знакомой,
но только некстати совсем голоса
назойливым гулом несутся из дома.
Сквозь щель незахлопнутой створки дверной
казалось, что горница улей вмещала:
Нагроцкий, Зозулин и к входу спиной
приземистый кряж крепыша-генерала.
А Нина, как факел, зажжённая,
невесть от чего возбуждённая,
под руку спешит подхватить:
— «Обрадов, мой родич по мужу
и друг самый верный к тому же —
прошу уважать и любить!»

Рутенич (то был, без сомнения, он!)
о чём-то всё спорил с бывшим депутатом;
тяжёлые веки легли, как заслон,
для острого взгляда под чубом косматым.
Слова соскальзали с усов — в сизый дым:
— «У красных есть цель, пусть неверного рая,
а мы свои жизни за что не щадим?
Нехай то другие об этом решают!?»
— «Народ ждёт порядка, а кто его даст?» —
трибун по-медвежьи рычал под парами —
«российской традиции ль верная рать
иль новые гунны в разбойном бедламе?»

Рутенич наполненный поднял бокал:
— «На свете незыблемый есть идеал,
ведёт он к преддвериям райским.
Пусть женская нежность пребудет всегда.
Она перед нами теперь, господа:
за здравье прекрасной хозяйки!»

Все выпили дружно, ура прокричали,
а та заалела, как спелый гранат . . .
Рутенич, склонясь к ней, как демон печальный,
нашептывал: «Если б я не был женат!»
Потом она вышла . . . А он вёл беседу
про то, коль у бритов мозги в черепах,
они нам помогут добиться победы,
спасая Европу на белых штыках.
Николка за Ниной последовал в спальню;
она прислонилась бессильно к стене . . .
Вдруг сжала за руку . . ., что хрустнули пальцы,
и шёпот порывистый странно звенел:
— «. . . Я волю теряю . . .
Откуда напасти
обрушились лавою вновь?
И держат — не знаю
какой ещё властью . . .
Гипноз ли . . . иль всё же любовь?»

Сквозь двери журчал баритон генерала,
что время давно политических дел,
что ставка (хоть поздно!) ему указала
возглавить особый гражданский отдел . . .
— «Предел положить равнодушью крестьянскому.

Народ жаждет землю — довольно молчать!
Из белого Крыма по русским пространствам
пусть слово надежды должно прозвучать!»
Прищурясь, хитро поглядел на Нагроцкого,
на Ника, который ступил чрез порог, —
сказал: «Мне нужны молодые и острые!
Который из вас перейти б ко мне мог?»
Моргнул поощрительно
и со значением . . .
Но молвил Обрадов, вытягиваясь во фронт:
— «Ваше превосходительство,
прошу назначения
в действующую, на фронт!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Море, как молот в руках Немезиды,
целит удары в твердыни Тавриды;
с запада, с юга, дробя и тараня,
хлещет в отбое от мысов Тамани;
хитрым размывом сквозь стрельчатый кряж
с тыла заходит зыбучий Сиваш.
В узком проходе, закрученном змейкой,
словно сквозь топи набросана гать.
С материка до гряды перешейка
тянутся щупальцы горло зажать.
Но заколдованы
торные тропы —
в броню закован
засов Перекопа.

Древнюю пристань Эллады, ромеев,
крепость разбойную лютых Гиреев
(кто здесь в помине — сарматы ль, варанги ль?)
взял под команду стремительный Врангель,
зоркий и точный, как меткий прицел.

Фронт оживился, а тыл присмирел.
Как-то отрадней терпеть и бороться,
если по цепи незримых колец
мудрый приёмник в душе полководца
стук отбивает походных сердец.
С новой надеждой,
расцветшею лилией,
бились как прежде
на взлёте усилий.

Из бурдюков ли вино золотое,
перебродивши, излилось струёю,
так забурлившие силы у армии
вырвались в степи по северу Таврии.
Здесь в ковылях у излучин Днепра
будет решающей в кости игра . . .
Ржут пулемёты, кудахчут винтовки,
а за оградой железных плетней
красное войско под мирной Каховкой
всё многочисленней, злей и грозней.
Шлемы тряпичные,
галифе-то залатаны . . .
Ты ли, Русь, — лапотная,
или — зарничная?

Хмурые тени по выси валандаются . . .
Отбыл из ставки

главнокомандующий.

Дни в пререканьях

с союзными миссиями.

Горькие складки на щёках отвисли . . .

С едким сарказмом, но вывод готов:

— Коль то друзья,

то не надо врагов!

Катит мотор по ухабам и рытвинам.

Пункт лазаретный.

— «Стоп. Выключить газ!»

Краткий осмотр. Над фуражками свиты

Жжёт огонёк пронизательных глаз.

Вот — (как за кругом
суждений поблеклых)

в койке обрубок,

что был человеком.

Старший хирург потянулся на цыпочках:

— «Это полковник Гордеев, ваш-прри . . . тельство!»

— «Выжить не сможет?» — «Надежды ни малой!»

Бросил:

«Представить его в генералы!

Здесь мне на подпись . . . Не медля . . . Теперь!! . . . »

Словно проколотый вышел за дверь.

В утлой постройке, прилепленной рядом,

где хлебороб смастерил сеновал,

раненый тем же разрывом снаряда,

что и Гордеев, — Николка лежал.

Теплились силы

в горячей разрядке,

раны сочились

в ноге и лопатке.

Но приподнялся, и взгляд просветлённой . . .

Врангель склонился фигурой сажённой,

вспомнил соратника Павла Обрадова.
— «Брат? Но тогда пояснений не надо.
Брат удальца, видно схожий во всём!»
Дальше проплыл сквозь туман за врачём.
Встреча была ни по чём не приметная,
всё же (как памяти ход угадать!)
чувство — иначе не скажешь — заветное
верный Николка сберёт на года.
Не второпях
протекали недели.
На костылях
он поднялся с постели.

Жизнь ломит в дверь лазаретной обители . . .
К Нику негаданный вновь посетитель.
По-пояс бороду свесил Микулину;
Ник так не сразу признал в нём Зозулина.
Гость необычный с другой стороны
вести Николке привёз от родных.
Вкратце поведал, как там «ситуация»:
в страхе живут на голодный паёк,
в сёлах волнения — мобилизация,
а доканают на смерть продналог . . .
— «Рад был вас встретить,
а мне всё сдаётся,
мы с вами вместе
еще развернёмся!»

А молодчина ж! Привёз под сорочкой
лично от Музы бесценные строчки:

«В мире так много чудесного:
старый испытанный друг
взял пронести мою весточку
сквозь заколдованный круг.
Видно вороны накаркали
наше рождение и жизнь,
я же от счастья проплакала,
слыша о том, что ты жив.
Мысль о тебе уж два года
так и сверлит в голове,
как тётя Люба с Серёжей
были проездом в Москве.
Мальчика я б приютила
(как он на Павла похож!),
но под крылом Михаила
жить им надёжнее всё ж.
Миша женился . . . С участья
к доле вдовы и сирот
друга, которого власти
в спешке пустили в расход.
Он же с бронёю бесспорной,
с разных сторон так и рвут;
сам Луначарский упорно
звал переехать в Москву.
Что ж о своей обыдёнщине
путного я напишу?
То, как часы заведённые
утром на службу спешу . . .
То ль, что всегда ощущаю
над головою топор,

ибо строптивых карает
классовый, значит, террор!
Сердце смертельно устало,
где-то ж подспудный инстинкт
— выжить во чтоб то ни стало! —
глупо и подло твердит.
Верю, средь гульбища дьявола
Бог сохраняет твой век.
Ты — после гибели Павла —
самый родной человек!»

Снова парчёвой повеяло осенью . . .
Нику предписан маршрут в Феодосию.
По заключенью врачебному он
службу зачислен нести в гарнизон.
Перед отъездом сходил на кладбище,
где похоронен его командир.
Дикая роза над мертвым жилищем
в почву корнями впилась, как вампир.
Сердце ль тисками сжимается,
было в прощаньи том — таинство . . .

С моря дразнящий рябит сквознячок . . .
Будничной сутолкой жив городок,
издревле гавань окраин имперских.
Новый этап — батальон офицерский.
День, как другой, как оскомины терпкий,
нервы — тугой перекрученный жгут.
Как-то сидел он в казарме, в каптёрке,
вдруг его кличут, к кому-то зовут:

— «Вас ожидает в приёмной
тонная дама знакомая!»

В пыльных сенях, по углам паутина,
в кожанном кресле у столика — Нина,
тоньше, бледнее, под краской ресниц
зелень увядшая блеклых зениц.

— «Не ожидал? Я ж тебя отыскала!
Ну, покажись . . . после болей и ран.
Да, похудел, но тебе так пристало . . .
Ты возмужал, и уже капитан!»
Шумно болтала без толку,
вдруг: «Проводи же, Николка!»

Вышли на площадь. С порывистой силой
Нина Николку за локоть схватила.

— «Всё, что стряслось, утекло, как вода . . .
С *ним* порвала я теперь навсегда!»
Долго брели по бульварам, по пляжу.
Освобождая всю накипь в груди,
кается Нина в чувствительном раже . . .
Спутника смутная мысль бередит:
тот человек, что ей горе принёс —
он ли загадка, и в нём ли вопрос?

Нину Николка провёл до квартиры,
там попрощались . . . Как призрачный гость,
бледный туман, словно сгустки эфира,
кутал старательно проблески звёзд.
Ник вдохновенно глядел в вышину
и различал в поднебесьи изменчивом

в обликах туч силуэты двух женщин,
что растекаясь сливались в одну;
плыли на север по воле стихии
в даль, где решаются судьбы России.

Как в забытьи дотащился в казарму.
Прямо при входе и с места в карьер
вывел из дум его друг офицер
шёпотным взрывом разящей сенсации:
фронт протаранила Красная армия
с фланга через Сиваш . . .
Завтра начнётся
эвакуация.

Конармейский марш

Рдяным стягом озаряется рассвет.
В рьяном марше кони топчут вражий след.
Грозной силой развернулись мы в цепи,
Взмахи сабель свищут вихрем по степи.
 Чрез ручей ли, чрез лиман наш путь лежит —
 Только пена под копытами кипит . . .
 Мы врага измесим в тесто с трёх сторон.
 Иль тебе не стало тесно, фон-барон?
Не уйдёшь от нашей мести уж никак!
Где теперь, скажи, Юденич, где Колчак?
Как последние мы выкорчуем пни,
Буржуазии закончились дни!

Красным полымем румянится восход.
Прогремит легендой славы наш поход!
Кровь горячая обильно пролилась,
пролетарскую отстаивая власть.

Но как колос тянет соки из земли,
Наши силы в испытаньях выросли,
Не напрасны дни лишений и тревог,
Кто сознательный, тот знает для чего:
— Чтобы в жадности уже не смог вовек
В кабалу взять человека человек,
Чтобы люди позабыли как звучат
И слова про то, кто беден, кто богат.

Темной ночью мы раскинули свой стан,
Белый по полю накатывал туман,
Но как солнце красит небо в киноварь,
Революция разгонит мрак и хмарь.

Под копытами коней звенящий гул,
Паренёк удалый песню затянул . . .
Эй, послушайте товарища бойца

С новой песней — той, что ворошит сердца!
Рдяным стягом озаряется рассвет.
В рьяном марше кони топчут вражий след.
Грозной силой растянулись мы в цепи,
Взмахи сабель свищут вихрем по степи.

Острокрылые чайки гурьбой
причитали над морем истошно,
и безумный прибой

изнывал в непосильной борьбе,
и свинцовые призраки круч
вырастали в тумане молочном,
будто к водам вплотную
надвинулся горный хребет.
Предваряя скользкий обвал,
уж на рейдах смятённого Крыма
с Евпатории к Ялте
и дальше к востоку на Керчь
вереницей нестройной суда,
словно сопки, пыхтящие дымом,
поджидают тот фрахт,
что сметал вдоль по берегу смерч.

В этот памятный пасмурный день,
когда небо склонилось так низко,
Николай среди дел
в бредовом был угарном чаду.
Но он всё же успел
переправить для Нины записку:
«Жди меня. Я позднее
за тобой непременно приду».
Этот памятный вечер печальный
был сюрпризами полн до отказа.
Нину он не застал.
(«И вольно ж в это время гулять!»)
Исподлобья недобро взглянув,
в дом пустила хозяйка не сразу,
лишь когда кобуру
грозно стал на ремне оправлять . . .

Зарядившись терпением,
он стерёг в помутневшей светёлке . . .
Вот из тёмных сеней
распахнулась скрипучая дверь,
нагружённая Нина в чулан
протащила мешок и кошёлку —
— «Мой запас провианта,
что я раздобыла теперь!»
Было трудно всерьёз воспринять
всю нелепость подобной картины . . .
— «О запасах? Сейчас?
Ты в своём, дорогая, уме?
Паковаться, не медля!» В ответ
еле слышно промолвила Нина:
— «Никуда я не еду.
Я останусь на русской земле!»

Были тщетны, как тающий снег,
все Николкины речи, старанья . . .
— «Да, ты должен уехать.
Твой маршрут обозначен войной.
С лебединою стаей в отлёт
ты отправишься в тёплые страны,
а Господь приведёт,
то вернёшься к гнездовьям весной!
Я ж, что голубь, застигнутый бурей,
где-то сбился с дороги и кружит . . .
Не чужбины лазурь,
голубятня под крышей — магнит!
Мой удел — так, как весь наш народ, —
грудью встретить ненастья и стужи,

чем родная природа
нас овеять в зимовьях сулит».

Опираясь локтями о стол,
и виски зажимая руками,
Николай только мог
повторять заклинаньем одно:
что безумье бесспорное здесь
одиноким остаться с врагами,
где расправе и мести
прокатиться огнём суждено.
— «Но ведь я не останусь в Крыму.
Я — стрелою, как голубь почтовый...
Растворюсь невидимкой впотьмах...
Уж на что-то годна моя прыть!
Я — туда, где мой сын
прозябает сироткой бездомным...
Я ведь мать,
и без сына мне вовсе не жить!»

Как и прежде, так было тогда —
в темноте возвращался Николка
и на ощупь свой шаг,
как в дурмане, прокладывал он.
Мысль сосульками стыла в мозгу,
сердце стуком дробилось в осколки,
будто шёл он с разгула
или в мрачном хвосте похорон...
Поутру тяжело пробудясь
по сигналу команды короткой,
он поплёлся за частью,

тощий узел на плечи взвалив,
на широкую площадь причалов,
где скрипели и ныли лебёдки
и суда штурмовал
человечьего моря прилив.

А народ прибывать продолжал,
кто со скрабом, кто гол — под гребёнку,
и зажав обручами,
на передних давили зады.
Вдруг всю площадь пронзило
перепуганным плачем ребёнка,
и потоком людским
затянуло его сквозь ряды.
Мать в призывах напрасных охрипла:
— «Где ты, Аллочка!? .. Алла! ..»
Но в подножья толпы
детский писк безнадёжно тонул.
Лишь Николка учуял догадкой,
что в ногах у него трепыхало . . .
Как морковку из грядки,
он девчурку наверх потянул.

Водрузивши ребёнка на плечи,
и живую стеной замурован,
он с толпой по теченью
плыл, как сплав, продвигаясь вперёд,
где у лесничных поручней ждал
злополучный папаша-полковник
драгоценную ношу прижать
и тащить в пароход.

Муравьями по трапу ползли,
растекались протоками палуб,
позабив все углы,
в шахты трюмов спускались до дна . . .
Там соседки погрызлись за место,
тут потоки ругательств и жалоб,
кто вздыхал безутешно,
кто насупясь глядел, как варнак.

А из города в брошенный порт
пробирались фигуры, как тени,
и палили в упор по борту
свой прощальный салют . . .
Переполненный транспорт отчалил,
но до ночи маячил на рейде,
карауля сигнал,
чтоб пуститься в безрадостный путь.
И когда уплывали во мглу,
в гущу траура спрятан был север.
Вдруг, прорвав немоту,
на укутанном тьмой берегу
грозной молнией с громом взвился
золотой, ослепительный фейерверк,
то был взрыв арсенала,
дабы он не достался врагу!

Клокотало, трещало, свистело
над сонным жильём Сарыголя,
обрамляя отлогий предел
полыхавшей каймой бахромы,
и калёного облака медь,

как зарница над вспаханым полем,
искромётно лилась в борозде
от прореза скользящей кормы.
А потом — как померкло в глазах . . .
Опустела площадка под рубкой.
Только братья казачья,
придвинувшись в тесный кружок,
коротала бессонную ночь,
примостясь у спасательной шлюпки,
чтоб увидеть воочью,
как за морем алеет восток.

Казачья песня

Не стаю соколов в долину
Пригнало бурей с облаков,
Лихая доля на чужбину
Свела отважных казаков.

А на чужбине чёрствы люди,
Иной обычай и закон.

Казак до смерти не забудет
Станичных храмов перезвон!

Под небом чуждым в ночь не спится,
И навевает думы тишь —
Про отчий дом, свою станицу,
Про степь и у реки камыш . . .

Казачка мужа провожала,
А мать с высокого крыльца,
Крестя, на путь благословляла;
Слезу прошибло у отца . . .

Тоски щемящей наважденье
Углём калёным жжёт в груди,
Но верит он, что возвращенье
Не за горами впереди!

А смерть, негаданная гостья,
Крадётся, может быть, змеёй,
А там — примнёт казачьи кости
Чужой бесплодную землёй.

Лишь песня сладит в сердце с болью,
Когда прославит, вдаль звеня,
Дела отцов, казачью волю
И по раздолью бег коня . . .

И на чужбине по распутьям
Песнь разнесётся невзначай,
И с ветром залетит попутным,
Как шорох трав, в родимый край.

Чрез Понт рассекая валы,
по древним путям к Цареграду
плывут, нагоняя узлы,
суда безземельной армады.
Как будто Европе на смотр,
надменной в версальском всеильи,
в тумане заходит в Босфор
летучих скитальцев флотилия.
А с мачт шелестят о былом,
колеблясь, как призраки, флаги . . .
(— Не так ли пришельцы — варяги
вторгались сюда напролом?
Иль курс в Палестину забыв,

неслись корабли крестоносцев?)
... За крейсером в тесный пролив
цепочкой спешат миноносцы.
А следом — плавучий парад,
весь транспорт, как ветром, придуло.
Но глянул лукавый Царьград
из томных зрачков Истамбула...
Знать, стари волною не вымыло,
гункьярская память крепка,
и флюгеры ярче желтка
гостям понавешаны к вымпелам...

Тоскливо без цели и дел
растянуты дни карантина.
Николка часами глядел,
как в ряби, проворней дельфинов,
латошников бойких чалмы
взметались в дощанниках хрупких,
и кто-то у самой кормы
торгует сладостями и фруктами.
С концов приводной бичевы
обмен совершается с миром —
колечко за связку инжира,
браслетка за око халвы...
Два дня протекли в ожиданьи,
на третий объявлено в рупор:
желающих вымыться в бане
на берег отвозят по группам!
Под флагом союзных цветов
вот катер, кряхтя сиповато,
минуя шеренги судов,

уносит счастливых в Галату.
И берег, что раем заветным
манил через Рог Золотой,
встречает крикливой толпой,
базарами и минаретами . . .

— «Обрадов! Какими судьбами?
Вот друга сто лет не видал!»
При входе в просторный предбанник
басок из толпы прозвучал.
На стыках этапных путей
негаданность встреч не диковинка,
но тот, что всех выше — Андрей,
в погонах к тому ж подполковника . . .
Откуда осанка взялась?
И речь, как команды подача:
— «Вот это ловцам так удача,
теперь ты ни шагу от нас!
Таков уж у нас обиход,
в ковчег наш, будь чистым-нечистым,
мы тащим на свой пароход
всю братию артиллеристов!
Мы там не утратили дух,
зарядный запас не просыпали,
но ходит упорнейший слух —
нас всех отправляют в Галлиполи.
Знать, армию снова хотят
собрать — для переформировки . . .
И вновь, взявши в руки винтовки,
мы двинем весною назад!»

У борта баржи паровой
на бризе порывисто-прытком,
склонясь над пучиной морской,
стояли Обрадов с Левитским.
И ветра напористый шквал
врывался в строку разговора,
и падали грузом слова
в прозрачные недра Босфора.
— «Николка, ты в праве твердить:
что будет, закрыто в затмении,
но всё ж в лабиринте безвременья
протянута к дальнему нить . . .
Пусть смуты великой года
кровавым ярмом перегружены,
то правда, что мы никогда
нигде не сложили оружия.
Нас сжали, как только могли,
на кромку столкнув без исхода,
и вот, как не стало земли,
мы сели тогда в пароходы . . .
. . . Хоть славят враги торжество,
хваляся успехом воителей, —
не клали к ногам победителей
оружия мы своего!

. . . И нас среди побоищ и тризн
влекло не упрямяство истощное.
Мы шли за владычицу Жизнь,
не нашу и даже не прошлую;
за ту, что как мощный прибор,

хранящую меры и сроки,
где новое пенной струёй
с извечным сольется в потоке . . .
. . . Но если б никто не посмел
восстать за преданья отечества,
у нас пред лицом человечества
в истории был бы пробел!»
Обрадов спросил: «А народ?»
Но друг что-то мешкал с ответом . . .
Ник вспомнил семнадцатый год
и дом за Литейным проспектом . . .
Как будто б не смолк ещё звук
речей Михаила Пасманика:
— Народ скажет слово не вдруг,
пока раскачнётся, как маятник.
Здесь ритмы иных скоростей,
иной амплитуды загадка,
а в наших кипеньях и схватках
он только победный трофей!

Дул с севера шквал-озорник,
рвал снасти и флаги без цели.
Андрей, приподняв воротник,
закутался туже в шинели.
Но стрелкой, скользящей на норд,
навстречу солёному свею,
Николка направил свой взор
и грудь под удары Борея.
Как будто блаженная весть
неслась по каскаду летучему,
иль тайну исхода к грядущему

хотел он сквозь ветер прочесть.
Но завтра укрыто от глаз
за сенью запретной печати,
и в этом, быть может, для нас
людское надёжное счастье.
Иль там, где и времени нет,
в космических далях нирваны
прядёт вдохновенный поэт
канву мирового романа.
Слепой ли судьбы оборот,
дела ль иль мытарства героев,
рождённых чудесной игрою,
в живой наливаются плод,

и зрея спадают по строчке,
как в этом рассказе без точки

Вашингтон, 1967.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог («Книга происхождений»)	3
Поэма «Исход»	
Часть первая	23
Часть вторая	48
Часть третья	74

GEORGE GERZOG
3701 16TH ST NW
WASHINGTON D C 20010

